«ЗАЛИВНАЯ ПЕСНЬ СОЛОВЬИНАЯ...»

К 175-летию со дня кончины А.В. Кольцова

Один из критиков начала двадцатого века сказал об Алексее Кольцове: «Это деревня нашей литературы». Мнение не новое. Время от времени те, кто тщится принизить нашу лирику, ее мировое значение, называют очень уж «простыми», «растительными» поэтами и Кольцова, и Некрасова, и Есенина, и Твардовского. Скажи такое о французе Ронсаре или шотландце Бернсе – нашего «знатока» и «толкователя» засмеют; а наведи тень на отечественного классика – примут за нового оракула.

У тех, кто считает Кольцова «деревней поэзии», доводы под рукой: не может стать подлинным, тем более крупным, мастером человек, который не получил систематического образования, не вращался постоянно в литературной среде и делом-то всю жизнь занимался далеким от творчества – какой там далеким, даже вовсе несовместимым, торгашеским: помогал отцу скупать по глухим хуторам скот и перепродавать его. Не может такой человек стать поэтом!

А воронежский мещанин Алексей Васильевич Кольцов смог! Как, впрочем, смогли прославить свое имя и дело и другие русские самородки до и после него.

\* \* \*

Очень рано, в девятилетнем возрасте, окунулся Кольцов во взрослую жизнь, в самую гущу крестьянского и торгового простонародья. Отцу нужен был помощник, и, дав сыну позаниматься только один год в городском реальном училище, он нагрузил его торговыми заботами. Юный Алеша вместе с работниками-скотогонами скитался по задонским степям, ночевал под телегой, готовил еду на костре, пережидал в балках осенний дождь или ранний снег. Для поэта это особая школа, не сравнимая ни с какой другой. Все в ней: косматая степь, одинокий костер, редкие звезды, угрюмые спутники, долгая ночь и рассвет, гомон пробудившейся стоянки, бойкий разговор, движенье стада, ветер надежды – все напитывало мальчишеское сердце поэзией, ее сладостью и отравой. Полынные края, помнившие еще скифов и половцев, овеянные легендами о казачьей вольнице, загадочные дороги под бескрайним русским небом, и песни, песни, унылые и тягучие, задевавшие самое сокровенное в душе и так много объяснявшие в подневольной жизни тогдашнего простолюдина, – все откликнулось в первых же кольцовских строках, так не похожих на уже звучавшие в русской лирике!

Не шуми ты, рожь,

Спелым колосом!

Ты не пой, косарь,

Про широку степь!

Мне не для чего

Собирать добро,

Мне не для чего

Богатеть теперь!

Прочил молодец,

Прочил доброе

Не своей душе –

Душе-девице.

Сладко было мне

Глядеть в очи ей,

В очи, полные

Полюбовных дум!

И те ясные

Очи стухнули,

Спит могильным сном

Красна девица!

Тяжелей горы,

Темней полночи

Легла на сердце

Дума черная!

Люди, подобные Кольцову, не привыкли умиляться «простонародным бытом»; они хорошо знали и прозу, и поэзию этого быта. Но их не ожесточали, не огрубляли и тяготы народной жизни; они трезво видели ее духовные изъяны и ее духовную красоту. В степи, на среднерусской равнине родились стихи Алексея Кольцова, и кажется, что ему и не надо было искать слова, учиться мастерству складывать их в певучие, запоминающиеся строки – жизнь, как учитель, диктовала ему то, что выстрадано, накоплено ею. Ведь послушайте, это же нельзя выдумать, это всегда жило в судьбе русского человека, радовало его, наполняло гордостью – и вот, наконец, нашло певца:

У меня ль плечо –

Шире дедова;

Грудь высокая –

Моей матушки.

На лице моем

Кровь отцовская

В молоке зажгла

Зорю красную.

Кудри черные

Лежат скобкою;

Что работаю –

Все мне спорится!

.......

Ах ты, степь моя,

Степь привольная,

Широко ты, степь,

Пораскинулась,

К морю Черному

Понадвинулась!

В гости я к тебе

Не один пришел:

Я пришел сам-друг

С косой вострою;

Мне давно гулять

По траве степной

Вдоль и поперек

С ней хотелося...

Раззудись, плечо!

Размахнись, рука!

Ты пахни в лицо,

Ветер с полудня!

Освежи, взволнуй

Степь просторную!

Зажужжи, коса,

Как пчелиный рой!

Молоньей, коса,

Засверкай кругом!

Зашуми, трава,

Подкошонная;

Поклонись, цветы,

Головой земле!...

Сколько здесь, в двух приведенных стихотворениях, поэтической новизны, идущей прежде всего от народного отношения к земной жизни, к крестьянскому делу, к красоте человека! Такое не выдумаешь, такое входит в душу, когда ежедневно слышишь вокруг: «плечо шире дедова», «на лице кровь зажгла зорю красную», «кудри черные лежат скобкою», «зажужжи, коса, как пчелиный рой», «дума черная тяжелей горы, темней полночи». И сколько звучащих внове слов нашел поэт: «полюбовных дум», «очи стухнули», «к морю Черному понадвинулась», «трава подкошонная», «вниз по Дону, по набережью».

Нет, я не прав, говоря, что Кольцову не надо было искать слова. Еще как надо было! И с каким упорством надо было учиться, чтобы достичь высокой, классической простоты.

\* \* \*

В шестнадцать лет Алексей подружился с воронежским книготорговцем Д. Кашкиным, который давал ему редкие книги из своей биб-
лиотеки и новинки из свежих поступлений в магазин. Тогда прочел паренек классику и современных авторов. Многое в духовном развитии дало юному поэту общение со своим земляком, студентом Андреем Сребрянским, вокруг которого в Воронеже группировались молодые любители музыки и поэзии. Посланцем судьбы стал для Кольцова московский литератор Николай Станкевич. Приехав однажды в Воронеж и познакомившись с Алексеем, он отобрал из первых опытов провинциального поэта лучшее стихотворение «Перстень» и послал его в Петербург, в «Литературную газету», издававшуюся лицейским товарищем Пушкина Антоном Дельвигом. Станкевич так рекомендовал автора столичным литераторам: «Он воронежский мещанин, и ему не более двадцати лет от роду, нигде не учился и, занятый торговыми делами по поручению отца, пишет часто дорогою, ночью, сидя верхом на лошади...» Газета сразу напечатала стихи Кольцова, и это был его первый окрыляющий успех. В том же году стихи поэта «К N...» («Опять тоску, опять любовь...»), «Вздох на могиле Веневитинова», «Мой друг, мой ангел милый...» были напечатаны в московском журнале «Листок».

Знакомство со Станкевичем, можно смело сказать, изменило всю духовную жизнь воронежского затворника. В первый же приезд в древнюю столицу по делам торговли Кольцов оказался среди участников литературно-философского кружка Станкевича, в горячем пылу молодых споров. Именно московский знакомец свел застенчивого гостя из провинции с Виссарионом Белинским, сыгравшим огромную роль в последующей жизни и в творчестве Алексея Кольцова. Эти два человека – Станкевич и Белинский, а также издатель и журналист Андрей Краевский и литератор Василий Боткин открыли перед молодым поэтом дверь в мир, где его ожидали встречи с лучшими писателями России Василием Жуковским, Петром Вяземским, Иваном Крыловым, Николаем Гоголем, редакторами журналов Николаем Полевым и Николаем Надеждиным, актерами Павлом Мочаловым и Василием Каратыгиным, художниками Алексеем Венециановым и Кириллом Горбуновым, композиторами Михаилом Глинкой и Алексеем Верстовским, историками, профессорами Николаем Погодиным и Тимофеем Грановским и, наконец, с самим Александром Пушкиным.

Еще в Воронеже, получив доступ к библиотеке Д. Кашкина, Кольцов жадно читает все, что, по его мнению, поможет ему встать вровень с учеными людьми. А после поездок в Москву, а затем в Петербург, после общения со знаменитостями, он как одержимый стремится к одному: учиться, прочесть то, о чем слышал от новых знакомцев, составить для себя программу образования. Поэт нетерпеливо заказывает книги Краевскому, Белинскому, столичным торговцам литературой. Одного он просит прислать новое издание «Отелло» Шекспира, «Сказания русского народа о семейной жизни его предков» Сахарова, «Недоросль» Фонвизина, «Новый курс философии» Жеразе, двухтомное «Руководство к истории литературы» Вехлера, «Серапионовых братьев» Гофмана. Другому радостно сообщает: «От Губера получил “Фауста”... Купил полное сочинение Пушкина (т. е. полное собрание сочинений. – *А.Р*.). ...еще надобно обзавестись непременно Историей Карамзина. У меня есть Полевого и Ишимовой краткая, а хочется иметь полную» (речь идет об «Истории Государства Российского» Н. Карамзина, «Истории русского народа» Н. Полевого и «Истории России в рассказах для детей» А. Ишимовой. – *А.Р*.). Кольцов поверяет Белинскому свое страстное желание: «Нет голоса в душе быть купцом, а все мне говорит душа день и ночь, хочет бросить все занятия торговли – и сесть в горницу, читать, учиться. Мне бы хотелось... сначала поучить хорошенько свою русскую историю, потом естественную, всемирную, потом выучиться по-немецки, читать Шекспира, Гете, Байрона, Гегеля, прочесть астрономию, географию, ботанику, физиологию, зоологию, библию, евангелие и потом года два поездить по России, пожить сначала год в Питере. Вот мои желанья, и, кроме них, у меня ничего нет».

Кольцов отважно читает книги по философии и всемирной истории и, когда не может одолеть что-то, простодушно признается: «Купил “Историю философских систем” Галича... прочел первую часть; вовсе ничего не понял; разве философия другое дело? Может быть... Будем читать до конца». Но чаще все же он радуется своим открытиям; в его письмах об этом виден ум зрелый, способный отобрать наиболее важное, выработать собственное мнение. «Я прочел “Физиологию” Велланского, – рассказывает он. – Жалею, что не читал его давно. Теперь читаю “Историю” Данилевского, “Характер истории” Шульгина, “Американские степи”, “Шпион” Купера. Купер человек гениальный, однако не Вальтер Скотт».

\* \* \*

Кольцов понимает, что искусство – это широкий и вольный поток, включающий в себя кроме поэзии, литературы еще и театр, и жи-
вопись, и музыку, и многое другое. Этот поток, его могучий разлив, глубины, подводные течения, величавую красоту нужно хорошо знать. Поэтому Алексей Васильевич, изредка наведываясь в обе русские столицы, спешит в театры, на музыкальные концерты, в мастерские художников; не упускает случая познакомиться и поближе сойтись с людьми искусства. Письма его из Москвы и Петербурга полны новых впечатлений. «Недавно был я на концерте, – сообщает он младшей сестре Анисье. –
Пела Паста, итальянка, женщина 48 лет; но боже мой! – что за голос, что за музыка, что за звуки, за грация, что за искусство; что за сила, за энергия в этом голосе роскошного Запада! Если бы ты слышала! чудеса! диво дивное, чудо чудное. Я весь был очарован, упоен ее звуками; кровь вся в жилах кипела кипятком». «Я был на “Гамлете” в Питере, – рассказывает Кольцов в другом письме, – и вот мое мнение: Каратыгин человек с большим талантом, прекрасно образован, чудесно дерется на рапирах, великан собою; и этот талант, какой он имеет, весь ушел у него в искусство, и где роль легка, там он превосходен, а где нужно чувство, там его у Каратыгина нету, извините. Например, сцена после театра, монолог “быть или не быть”, разговор с матерью, разговор с Офелией: “удались от людей, иди в монастырь”, – здесь с Мочаловым и сравнивать нечего: Мочалов превосходен, а Каратыгин весьма посредственный. У Мочалова немного минут, но чудесных; у Каратыгина с начала до конца вся роль проникнута искусством. Полония играл Сосницкий; но Сосницкого и сравнивать нечего с Полонием московским: тот уж дурен, а этот превосходен, так что его роль второстепенная противу Гамлета, а он на сцене с Каратыгиным равен, – как будто эти две роли... первостепенные...»

В молодом поэте из Воронежа счастливо сошлись многие характерные русские черты: природное чутье к красоте и правде искусства, жажда узнать тайны того мастерства, которое дается ему, искреннее восхищение чужим талантом, открытость и душевность в общении... Кольцов быстро сходится с выдающимися людьми своего времени. Но это не тот случай, когда застенчивый стихотворец из глубинки благодаря покровительству какой-нибудь знаменитости (тут этой знаменитостью могли быть и Белинский, и Краевский, и – позже – Вяземский, и Жуковский) попадает в избранный круг как бесплатное приложение к известной личности. Нет, люди искусства сразу оценили самобытный, оригинальный талант и чудесные душевные качества молодого воронежца и приняли его в свою компанию как равного. Без хвастовства, хотя и с достоинством, и с гордостью, пишет он Белинскому: «В прошлую среду был я на вечере у Плетнева. Там были Воейков, Владиславлев, Карлгоф, Гребенка, Прокопович и Тургенев... По воскресеньям я обедаю у Венецианова, а иногда у Григоровича. Эти обои добрые люди; ко мне ласковы, хороши и, кажется, любят. По вторникам бываю у Гребенки; он ко мне хорош. По средам у Кукольника и у Плетнева. Плетнев ко мне будто неподдельно хорош.

По четвергам у Владиславлева; он мне сулит горы, а что-то даст? По пятницам у Никитенки. По субботам у моих земляков вечера их собственно, где бываем и мы. По понедельникам вечера у меня, и всех их было два... Вот каково, Виссарион Григорьевич! В Питере живем и добрым людям вечера даем!»

Иногда Алексей Васильевич, как позже Сергей Есенин, любил выдавать себя за простачка, за «человека из народа». Это удобно: смотри да слушай, ума набирайся. Но в душе такие люди, самородки, знали себе цену и при случае простодушно открывали свою хитрость. Вот и Кольцов признавался Белинскому, вспоминая свои поездки в Петербург:
«В первый раз я все больше разыгрывал молчанку, а теперь – дудки. Нет, братцы, лихо говорю... Мне, ей-богу, что-то хочется и самому кой-кого из молодежи одурачить; пусть наши копыта помнят».

\* \* \*

Его можно было назвать природным, доморощенным философом. Есть на Руси люди, которых толкает на размышление все: бытовой случай, занятный разговор, яркое воспоминание, необычный поступок, явление природы. Таким человеком был Алексей Кольцов. Его письма разным адресатам полны летучих, но всегда оригинальных, замечаний, кратких, но неизменно глубоких, запоминающихся, выводов. «Проклятый свет, – возмущался он, – в нем часто встречаются такие вещи, что и боже упаси. Сначала все идет хорошо, потом и еще хорошо, потом посмотришь – беда на носу, а двери заперты; тут в петлю рад, – на тот грех судьба забыла петлю прицепить». «Но хлопоты, но дела, но неприятности, – сетовал он в другой раз, – вот мои друзья, которые так прилежно за мной ухаживают и день и ночь, вот мои друзья, товарищи, сослуживцы! Бог знает, когда они от меня отстанут; с ними я хожу, лежу, и ем, и сплю. Досадно, мочи нет! А помочь горю нечем! Да, в настоящем мы горюем, в будущем ждем лучшего; приходит будущее и – хуже старого в семь седмериц». Даже в беглых замечаниях и оценках Кольцова мы найдем ту мудрость, которую выпестовал сам народ. «На сельское русское хозяйство, – писал, например, он однажды, – надо смотреть
по-русски, а не по-немецки. Немецкие методы нам не годятся, и их орудия – не наши орудия. Наш чернозем любит соху, а чтобы улучшить соху, надо улучшить руки людей, которые ею работают. Дело и в орудии; но дело и в умении управлять им. Можно и на одной струне играть хорошо, а глупец и на четырех уши дерет».

Есть в этой ранней мудрости поэта, как бы почерпнутой в народной гуще, еще одна особенность, одна мета, которую всегда несло на себе творчество национальных художников. Кольцов хорошо знал зависимость своего вдохновения, поэтического настроя от самочувствия народа. В одном из писем В. Белинскому он так отвечал на вопрос, почему мало сочинял в последнее время: «...не потому, что некогда, что дела мои были дурны, что я был все расстроен; но вся причина – эта суша
(т. е. засуха. – *А.Р*.), это безвременье нашего края, настоящий и будущий голод. Все это как-то ужасно имело нынешнее лето на меня большое влияние. Или потому, что мой быт и выгоды тесно связаны с внешнею природою нашего народа. Куда ни глянешь – везде унылые лица; поля, горелые степи наводят на душу уныние и печаль, и душа не в состоянии ничего ни мыслить, ни думать. Какая резкая перемена во всем! Например: и теперь поют русские песни те же люди, что пели прежде, те же песни, так же поют; напев один, а какая в них, не говоря уж грусть – они все грустны, – а какая-то болезнь, слабость, бездушье. А та разгульная энергия, сила, могучесть будто в них никогда не бывали. Я думаю, в той же душе, на том же инструменте, на котором народ выражался широко и сильно, при других обстоятельствах может выражаться слабо и бездушно. Особенно в песне это заметно; в ней, кроме ее собственной души, есть еще душа народа в его настоящем моменте жизни».

Скажите, прочитав эти строки, скажите, что их написал малограмотный человек, не приобщившийся к «большой культуре» и не знавший тайны творчества! В этих словах, в одном только абзаце, открыл Кольцов секреты: как рождаются и отчего так разнообразны – от черной тоски до безоглядного взмыва к солнцу и счастью – народные песни, и как приходят слова к «природному» поэту, и почему они совпадают с ясной или темной погодой над нивами родины – да много, много чего открыл воронежский прасол в своем раздумье! И стоит ли удивляться, что его редкий талант, взращенный на русской почве, передал в поэзии эти же чувствования словами точными и выстраданными:

Греет солнышко –

Да осенью;

Цветут цветики –

Да не в пору;

А весной была

Степь желтая,

Тучки плавали

Без дождика.

По ночам роса

Где падала,

Поутру трава

Там сохнула.

И все пташечки,

Касаточки,

Пели грустно так

И жалобно,

Что, их слушая,

Кровь стынула,

По душе лилась

Боль смертная.

Так прошла моя

Вся молодость,

Без любви-души,

Без радости.

Поэзия Алексея Кольцова, как ничья другая в отечественной литературе, полна афористичных строк, похожих на пословицы, поговорки, присловья. Его речь – и в стихах, и в письмах – напоминает живые, образные «речения» народных златоустов, которых всегда ценили на Руси. Вот его послания разным лицам; везде щедро рассыпаны словесные изумруды: «В степи ездил только раз, и то на скорую руку, как баба поет над могилой...»; «Желанью сенца не подложишь: оно насильно требует, что ему надобно»; «“Телескоп” (журнал, в котором сотрудничали А. Кольцов и В. Белинский. – *А.Р*.), я слышал, понесся шибко, да наехал на пень. Жаль “Телескопа” – славный был малый»; «Трудно сначала отыскать дорожку, а дорожка на дорогу выводит, а по битой дороге хоть день, хоть ночь ступай, – с полгоря, – не собьешься»; «Еще меня на это станет: жив Бог – жива душа»; «...не лезет ничего в голову; а что и лезет, то черт знает что такое: ни медведь, ни человек, а так, какой-то кавардак. Стоишь, думаешь-думаешь да и сядешь на пень; ноги свесишь, голову повесишь, как дурак». По письмам Кольцова видно, что он не лезет в карман за словом; то, что для другого в словарях, – у него под рукой: «Правда, как масло, наверх выплывает»; «Что день – то горе, что шаг –
то напасть»; «Ты на гору – черт за ногу»; «Мало слов, много хлопот, и дела куча»; «Не живи, как хочется, – живи, как Бог велит»; «Нужда говорлива»; «Разлитую воду подбирать с земли не всякому легко».

Уже одни эти выписки говорят о том, какие богатства носил в душе воронежский мещанин Алексей Кольцов. Копить их – свойство художественной натуры. Ты должен неустанно проявлять любопытство, всегда прислушиваться к разговорам искусных «речеев», отделять золотинки от песка и складывать в закрома памяти. Ты должен любить это занятие и надеяться, что твое богатство принесет тебе когда-нибудь неоценимую пользу. А Кольцов не только запоминал услышанное на лету – он записывал, по-хозяйски собирал в суете своих житейских и торговых дел все меткие и складные словечки простолюдинов, все, что ласкало слух. «Я собрал несколько пословиц, – сообщал он Андрею Краевскому, редактору журнала “Отечественные записки”, – но не знаю, какие мне именно записывать: какие попало или каких нет у Богдановича и Снегирева (в книге) “Русские в своих пословицах”... Для совета я приведу их в порядок и, если велите, пришлю к вам...»

Как человек, стремящийся к филигранному мастерству в поэзии, относился Алексей Кольцов и к народной песне. По переписке его видно, что выходившие тогда сборники русского фольклора вызывали у него жгучий интерес и прочитывались, как мы сказали бы теперь, с профессиональным вниманием.

Но сколько песенных жемчужин еще оставалось в безвестности! Поэт хорошо понимал, что словесное мастерство, которым отмечены народные песни, – это школа для него. В письме к тому же Краевскому он рассказывал: «Теперь... принялся, как говорили вы мне, собирать русские народные песни... Если... они вам приглянутся, напишите, я их еще к вам пришлю: есть в сумке про запас, и собирать буду... С этими людьми, ребятами, сначала надобно сидеть, балясничать... потом самому им пропеть песни две. А я петь большой мастак! Если бы кто послушал, нахохотался бы досыта, по горлушко. Потом они затянут, ты с ними же, пишешь и поешь! Ей-богу, смешно, – черевушки порвете! А иначе ничего не сделаешь, хоть брось. Только и я за них принялся крепко: что хочешь делай, а песни пой: нам надобны!»

\* \* \*

В такой школе брал уроки поэт, которого можно назвать русским соловьем. На стихи Кольцова за полтора столетия было написано около восьмисот романсов (нужно учесть, что на один и тот же текст создавалось несколько вокальных произведений). К его лирике обратилось более трехсот композиторов. И каких! Строки поэта положили на музыку такие творцы оперных, симфонических и инструментальных сочинений, как Михаил Глинка, Александр Даргомыжский, Николай Римский-Корсаков, Модест Мусоргский, Антон Рубинштейн, Александр Глазунов, Сергей Рахманинов, Сергей Танеев. А уж из мастеров русского романса, пожалуй, ни один не прошел мимо стихов Кольцова, словно бы созданных только для пения, для божественных голосов: А. Алябьев, П. Булахов, А. Гурилев, М. Балакирев, А. Варламов,
А. Гречанинов, К. Лядов... Уже само это обращение крупнейших музыкантов двух веков к произведениям поэта говорит о необычайных, притягательных качествах его лирики. А добавьте к этому восторженные оценки выдающихся музыкальных критиков, писавших о песнях воронежского чародея. В. Стасов отозвался о стихотворении «Соловей», сочиненном двадцатидвухлетним Кольцовым и положенном на музыку несколькими выдающимися композиторами – Н. Римским-Корсаковым, А. Гурилевым, А. Рубинштейном, А. Глазуновым и другими: это романс «поразительный по красоте и поэтичности». Чтобы вы могли разделить высокую похвалу критика, напомню лирическую миниатюру Кольцова:

СОЛОВЕЙ

(Подражание Пушкину)

Пленившись розой, соловей

И день, и ночь поет над ней;

Но роза молча песням внемлет,

Невинный сон ее объемлет...

На лире так певец иной

Поет для девы молодой;

Он страстью пламенной сгорает,

А дева милая не знает –

Кому поет он? Отчего

Печальны песни так его.

Композитор Ц. Кюи, автор большого исследовательского очерка о русском романсе, считал стихотворение Кольцова «Последний поцелуй» «совершеннейшим образцом слияния музыки с текстом в одно гармоническое целое», примером «гибкости и разнообразия романсных форм...». Поклонники классического вокала, конечно, сразу вспомнят слова любимого романса, который исполнялся многими знаменитыми русскими певцами:

Обойми, поцелуй,

Приголубь, приласкай,

Еще раз, поскорей,

Поцелуй горячей.

Что печально глядишь?

Что на сердце таишь?

Не тоскуй, не горюй,

Из очей слез не лей;

Мне не надобно их,

Мне не нужно тоски...

Какую же тайну русской песни открыл Кольцов? Как сумел он соединить глубокое, сокровенное слово с природной музыкальностью родного языка, подлинно народные мысли и чувства, чаяния и надежды с высокой поэзией?

Алексей Кольцов не подражал народной песне в ее внешних особенностях. Он не был стилизатором фольклорных, пусть и очень популярных, распространенных текстов. Он обогатил русскую песню новым духовным смыслом, сделал ее поэтически зрелой, образной, живописной. Не внешние украшения, не броское платье дал он русской песне –
он подарил ей от щедрот своего самобытнейшего таланта возвышенную, поэтическую душу. Эта душа страдает и радуется, поет и плачет, надеется и отчаивается, любит и навек прощается – по-русски, так, как только и можно на нашей удивительной земле:

Ты не пой, соловей,

Под моим окном;

Улети в леса

Моей родины!

Полюби ты окно

Души-девицы...

Прощебечь нежно ей

Про мою тоску;

Ты скажи, как без ней

Сохну, вяну я,

Что трава на степи

Перед осенью.

Без нее, ночью, мне

Месяц сумрачен;

Среди дня, без огня

Ходит солнышко.

Без нее кто меня

Примет ласково?

На чью грудь, отдохнуть,

Склоню голову?

Без нее на чью речь

Улыбнуся я?

Чья мне песнь, чей привет

Будет по сердцу?

Что ж поешь, соловей,

Под моим окном?

Улетай, улетай

К душе-девице!

Может быть, в песнях Кольцова впервые во всей силе и красоте встал богатырский русский человек. Поэт нашел какие-то особенные слова, полные эмоционального напора и душевной энергии, для выражения этого невиданного ранее в нашей литературе образа. Афанасий Фет вспоминал, как он и Иван Тургенев, такие разные люди, сошлись в оценке творчества воронежца: «Оказалось, что мы оба инстинктивно находились под могучим влиянием Кольцова. Меня всегда подкупало поэтическое буйство, в котором у Кольцова недостатка нет. ...в нем так много специально русского воодушевления и задора, что последний одолевал и такого западника, каким стал Тургенев под влиянием мадам Виардо. Помню, с каким воодушевлением он повторял за мною:

И чтоб с горем, в пиру,

Быть с веселым лицом;

На погибель идти –

Песни петь соловьем».

Кажется, что здесь, в кольцовских песнях, воскресли Микула Селянинович, Илья Муромец и другие былинные русские богатыри с их несокрушимой крепостью и с их способностью не падать духом, не унывать ни перед черной вражьей силой, ни перед самой смертью.
В лирике поэта все было внове – и русская сила, и правда, и само необузданное слово:

Нынче ночью к себе

В гости друга я жду.

«Без знакомых, один, –

Сказал, – радость, приду.

Месяц будь иль не будь –

Конь дорогу найдет;

Сам лукавый впотьмах

С ней его не собьет.

И до ночи метель

Снегом путь весь закрой:

Без дороги – чутьем

Сыщет домик он твой!»

Нынче ночью к себе

В гости друга я жду;

Он, прощаясь, сказал:

«Хоть умру, а приду.

Что замок и отец,

Караул, ворота?

Воеводская дверь

Мне всегда расперта.

Не любивши тебя,

В селах слыл молодцом;

А с тобою, мой друг,

Города нипочем!»

В свое время В. Белинский утверждал, что особенность таланта Николая Гоголя в беспримерной для нашей литературы оригинальности, самобытности его произведений. Точно так же особенность поэзии Алексея Кольцова в ее беспримерной, то есть неведомой ранее в русской лирике, самобытности. Он развил глубинные возможности отечественной песни. Русская песня была простодушна, естественна, музыкальна, задушевна; но она не достигала до Кольцова тех высот художественности, которой всегда отмечены произведения великого мастера. Он огранил песню, придал ей черты редкого художественного творения, сохранив ее народную душу. Как Иван Крылов явился в русской басне народным поэтом, так и Алексей Кольцов стал народным поэтом в русской песне.